

(Не)имперскость в русской публичной сфере и общественной мысли

Ирина Шевеленко

Антиимперская рефлексия революционной эпохи (1900—1910-е годы)

Irina Shevelenko

Anti-Imperial Visions of the Revolutionary Epoch (1900—1910s)

Ирина Шевеленко (Висконсинский университет в Мэдисоне, профессор) idshevelenko@wisc.edu.

Irina Shevelenko (Professor, University of Wisconsin—Madison) idshevelenko@wisc.edu.

Ключевые слова: Первая русская революция, национализм и империя, Сергей Булгаков, Павел Новгородцев, Николай Минский, Вячеслав Иванов

Key words: First Russian Revolution, nationalism and empire, Sergei Bulgakov, Pavel Novgorodtsev, Nikolai Minsky, Viacheslav Ivanov

УДК: 93/94+070

DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_123

UDC: 93/94+070

DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_123

Поражение России в войне с Японией и революция 1905—1907 годов породили взлет публицистических и философских рассуждений о российской государственности и ее будущем. Одним из направлений этих рассуждений оказывается критика империи — и в качестве авторитарного режима, и в качестве режима, противостоящего национально-культурному строительству. Как показывается в статье, эти два аспекта критики империи несимметричны: вообразить территориальный распад страны оказывается сложнее, чем демократизацию режима. Отражающиеся в этой асимметрии интеллектуальные позиции являются важным наследием эпохи первого революционного кризиса в России.

The defeat of Russia in the war with Japan and the events of the revolution of 1905-1907 produced a surge of journalistic and philosophical reflections on Russian statehood and its future. A prominent trend in these reflections is the critique of the empire, both as an autocratic political regime and as a regime that hampers the national-cultural building. As this article demonstrates, these two aspects of the critique of the empire are not symmetrical: it is more difficult for Russian authors to imagine the dissolution of the country than the democratization of the regime. The intellectual positions that inform this asymmetry constitute an important legacy of the epoch of the first revolutionary crisis in Russia.

Уже более ста лет понятия имперского и национального находятся в зоне рефлексии историков, социологов, политических мыслителей, а также всех, кто формирует поле публичной дискуссии, от журналистов до действующих политиков. Дискуссия в научном сообществе не отгорожена от дискуссии в публичном поле непроницаемой стеной: и здесь, и там мысль реагирует на меняющийся живой контекст сменой оптики и ревизией прежде предлагавшихся концепций. Во второй половине XX века осмысление опыта Второй мировой войны и последовавшего за ней распада колониальных империй выдвинуло на первый план концепции формирования современных наций, по отношению к которым империи мыслились как стадияльно предшествующие формы территориально-политического устройства (см., в частности: [Андерсон 2001; Геллнер 1991; Хобсбаум 1998; Greenfeld 1992; Seton-Watson 1977]). Постепенно картина усложнялась, в частности за счет признания того, что нацистроительные и имперские проекты индустриальной эпохи могли развиваться синхронно и находиться в симбиотических отношениях друг с другом¹. При этом в поле публичной дискуссии категории нации и империи продолжали выступать как антагонистичные, а производные от них категории национализма и имперскости (или империализма) приобретали по преимуществу оценочный, pejоративный смысл — как инструменты критики одного или другого социополитического тренда. В начале XXI века в научном сообществе возродился интерес к исследованию империй, что в немалой степени было обусловлено текущими политическими процессами, видоизменяющими облики национальных государств: с одной стороны, готовностью этих государств поступиться элементами суверенитета в пользу крупных надгосударственных формирований (ЕС), с другой — ростом миграции, приносящей все большее разнообразие в социальную ткань национальных государств, прежде вообразивших себя сравнительно «гомогенными». Недавняя книга Джейн Бёрбанк и Фредерика Купера «Постимперские возможности: Евразия, Еврафрика, Афроазия» [Burbank, Cooper 2023] напоминает нам о предлагавшихся в XX веке, но вполне не реализовавшихся сценариях политического строительства, в основе которых лежала не «нация», а иные формы культурно-политических сообществ. Эти сценарии постимперского развития, возможно, обладают отложенным историческим потенциалом: «воображаемые сообщества» будущего могут отличаться от империй прошлого своим институциональным устройством, но сближаться с ними принципиальной неоднородностью культурного ландшафта.

В этой перспективе, оперируя категориями имперскости и антиимперскости (или неимперскости) по отношению к России как оценочными, важно задать себе вопрос: что именно в понятии империи является тем сердцевинным элементом, к которому мы приставляем негативные приставки *анти-* или *не-*? Те же Бёрбанк и Купер в другой своей книге определяют империи как «крупные политические образования, нацеленные на экспансию либо хранящие память о территориальной экспансии», как «государственные образования, практикующие принципы различия и иерархии в процессе инкорпорации нового населения» [Burbank, Cooper 2010: 8]. Это определение безусловно подходит для России, но оно подходит, например, и для США: алгоритм территориальной экспансии обеих стран и их политики различия по отношению к разным груп-

1 Применительно к Российской империи см., например: [Миллер 2006: 147–170].

пам населения обладают известными сходствами. Вместе с тем перед нами два очень разных опыта имперского развития, и эта разница укоренена в характере политических институтов, выработанных в процессе этого развития. В случае России ключевым элементом политического устройства империи на протяжении веков является автократическая форма правления. Такая форма правления вовсе не обязательна для империй, но именно она всегда воспринималась как неотъемлемый атрибут Российской империи — и теми, кто выработывал идеологию для ее самодержавных правителей, и теми, кто с этой идеологией полемизировал. На протяжении веков автократия в России направляла существенные усилия на то, чтобы разнообразие имперских территорий не подрывало политической устойчивости государства². При этом уже более ста лет пространство между автократией и разнообразием (в политической конструкции) пытаются занять институты представительной демократии, которые после короткого взлета утрачивают свои позиции. Соответственно, на протяжении десятилетий антиимперская рефлексия в России прежде всего обращается к критике политической системы империи в ее разнообразных автократических изводах и лишь во вторую очередь — к ее экспансионистской политике.

Важную роль в кристаллизации этого алгоритма критики империи сыграл революционный кризис начала XX века, приведший к формированию первых институтов представительной демократии в Российской империи. Сложившиеся в это время параметры рефлексии над ситуацией империи сохраняют свое влияние до сих пор. Поэтому и сто лет спустя взгляд в это историческое зеркало позволяет лучше понять, как мы сами думаем о возможностях и двигателях изменений в российском политическом поле. Мои примеры будут из того сегмента журнальной публицистики, который связан с философским идеализмом, с одной стороны, и модернистским искусством — с другой. Это отчасти пересекающиеся поля, в каждом из которых в начале XX века идет работа над «воображением» будущего. Каждый из примеров несет на себе определенную партийную и индивидуальную окраску, однако в совокупности они очерчивают контуры антиимперской рефлексии этого периода в целом.

Начало революционному кризису дает, как известно, русско-японская война 1904—1905 годов. В первые месяцы она порождает бурный всплеск патриотических комментариев в различных сегментах прессы, в том числе и в модернистских изданиях. Так, модернистский журнал «Новый путь» публикует в 1904 году ряд статей, в которых выражается уверенность в грядущей победе России над Японией и судьбоносности этой победы для дальнейшего российского доминирования в Азии³. До осени 1904 года главными идеологами журнала были Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус. В это время их интересовали пути сближения интеллигенции с церковью; при этом они сохраняли лояльность по отношению к монархической власти, что изменилось в период Первой русской революции⁴. Однако осенью 1904 года место главных идеологов журнала заняли молодые философы Сергей Булгаков и Нико-

2 Подробный исторический анализ политик инкорпорации новых территорий Российской империей предпринят в книге: [Kappeler 2001].

3 См. об этом подробнее: [Шевеленко 2017: 121—129].

4 См.: Мережковский Д., Гиппиус З., Философов Д. Царь и революция / Пер. с фр. О.В. Эдельман под ред. М.А. Колерова. М.: ОГИ, 1999.

лай Бердяев, незадолго до того пережившие обращение из марксистов в идеалисты. В начале 1905 года журнал сменил название на «Вопросы жизни», а военные поражения вызвали резкую перемену в риторике при комментировании войны.

Наглядно иллюстрировала эту перемену статья Сергея Булгакова, появившаяся в первом номере «Вопросов жизни» за 1905 год. На тот момент Булгаков был одним из основателей недавно созданного Союза освобождения, программа которого включала в себя введение избирательного права, а также права народов на самоопределение. Позже он стал депутатом 2-й Государственной думы, в которую избирался как беспартийный «христианский социалист». С точки зрения Булгакова, поражения, которые терпела русская армия в русско-японской войне, были симптомом всеобъемлющего кризиса русской политической жизни:

Обстоятельства, сопровождавшие всемирно-историческое возрождение Японии и в лице ее желтого мира, послужили окончательным обличением вековой внутренней неправды России. Япония явилась той рукой, которая начертала на пиру Валтасара *мене, текел, фарес*, и только слепорожденный или добровольно закрывающий глаза не видит огненных писем. Коренное обновление русской жизни стало теперь не только требованием гражданской совести, но самого исторического существования, упорство и косность представляют уже государственную опасность. Минувший год дописал, кажется, последнюю строку в той странице русской истории, которая открывается собиранием Руси при помощи сильной центральной власти, тянется от Иоанна Калиты через Иоанна Грозного в так называемый петербургский период, который формально не закончился, к несчастью, и до сих пор. Однако внутренне он уже закончился, как показала теперешняя война: если можно было еще доказывать его историческую целесообразность собиранием Руси, интересами государственного единства, то теперь дальнейшее упорство грозит обратным, ее новым рассыпанием, утратой даже того внешнего могущества, за которое мы платили такой дорогой ценой. И невольно напрашивается на сопоставление начало и конец петербургского периода — Полтава и Порт-Артур: в настоящую войну мы приняли на себя роль шведов, предоставив свою прежнюю роль японцам⁵.

Если интерпретировать эти слова буквально, то «принять на себя роль шведов» — значит фактически свернуть имперский проект, который для Булгакова воплощается прежде всего в образе «сильной центральной власти». Это она, видевшая свой *modus vivendi* в наращивании «внешнего могущества» любой ценой, теперь, терпя поражение, становится символом «вековой внутренней неправды России», под которой Булгаков несомненно имеет в виду авторитарную политическую рамку русской (имперской) государственности. Война с Японией за расширение влияния в Азии оборачивается поражением и концом «петербургского периода», который довел имперское строительство до того предела, за которым может последовать «рассыпание» территории. Причем сам автор видит в этом рассыпании не благо, а угрозу; спасительное же «коренное обновление русской жизни», как пишет Булгаков далее, состоит в том, чтобы «создать широкие и свободные рамки гражданского развития народа, твердо и последовательно проведя в жизнь основные требования демо-

5 Булгаков С. Без плана // Вопросы жизни. 1905. № 1. С. 310—311.

кратизма, который, по-видимому, достигает в настоящее время своего зенита во всем культурном мире»⁶. Таким образом, самодержавие должно уступить место республике, в частности для того, чтобы сделать возможным сохранение территориального единства империи.

Статья Булгакова датирована 1 января 1905 года, то есть написана до Кровавого воскресенья, хотя есть признаки внесения в нее правки после этого события⁷. Так или иначе, пока это подцензурный текст, и Булгаков формулирует осторожно, но предельно ясно: «русское освободительное движение» должно подтвердить свою приверженность лозунгу «с народом, через народ и для народа»⁸. Ближайшим контекстом для этого пассажа является известный указ Николая II от 12 декабря 1904 года «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка», который обещал целый ряд нововведений, включая позитивные правовые сдвиги в положении крестьян, рабочих, иногородцев и представителей религиозных меньшинств, а также расширение земского самоуправления и смягчение цензурных ограничений, однако не включал в себя введения народного представительства, что породило разочарование в среде либерального земства, причастного к процессу подготовки указа [Варфоломеев 2013: 21—22].

В том же номере «Вопросов жизни» политический обозреватель журнала Григорий Штильман, подводя итог году войны с Японией, отказывался видеть в поражениях государства выражение исторической судьбы народа:

С самого начала военных действий замечается чрезвычайно разумное отношение широких слоев русской публики к преследующим нас жестоким неудачам. Скорбь о невознаградимых потерях и о крайнем падении нашего престижа в Западной Европе, все отдают себе одновременно отчет в том, что явное военное превосходство японцев не может служить показателем слабости *русского народа*, а свидетельствует лишь о полном банкротстве нашей бюрократии, неспособной справиться с задачей внешней обороны государства⁹.

Эта риторика была еще одним отражением стремительных перемен в общественных настроениях: с одной стороны, публицист использовал категорию «русский народ» в духе официальной риторики, пренебрегавшей иными народами империи как априори неравными, с другой — противопоставлял судьбу народа судьбе государственной бюрократии. Признание банкротства правящей бюрократии делало требования парламентской демократии все более настойчивыми, и сама эта бюрократия между февралем и августом 1905 года пошла на выработку законодательных актов, связанных с учреждением Государственной думы как законосовещательного органа, избиравшегося гражданами. Под давлением всероссийской политической стачки в октябре того же года избирательное законодательство было изменено в пользу более широких законотворческих полномочий Думы.

6 Там же. С. 312.

7 Сам журнал вышел лишь в феврале (цензурное разрешение от 15 февраля 1905 года), и в нем есть отдельная статья о Кровавом воскресенье: Ш[тильман] Г. 9-ое января 1905 г. // Вопросы жизни. 1905. № 1. С. 329—337.

8 Булгаков С. Указ. соч. С. 312.

9 Штильман Г.Н. Годовщина русско-японской войны // Вопросы жизни. 1905. № 1. С. 322—323.

То, что Булгаков еще не решался назвать по имени в январе 1905 года, в июньском номере «Вопросов жизни» называл Павел Новгородцев, заявляя о необходимости парламента. Как и Булгаков, Новгородцев был одним из учредителей «Союза освобождения»; в 1905 году он стал членом конституционно-демократической партии, от которой впоследствии был избран депутатом 1-й Государственной думы. В середине 1905 года, еще до Манифеста 6 августа, объявившего об учреждении Государственной думы, Новгородцев так формулировал текущий политический запрос:

Задача состоит в том, чтобы на место бесконтрольного и произвольного полицейско-бюрократического режима создать режим контролируемый и подзаконный, чтоб провозгласить и утвердить во всей их полноте права человека и гражданина. А эту задачу нельзя решить иным путем, как через привлечение народа к участию в законодательстве и управлении. Парламентаризм не решает собою всех общественных задач, и творчество человечества, конечно, не кончается им, но если речь идет о разрешении той политической задачи, которая теперь является очередной и неотложной задачей русского народа, то другого пути действительно нет¹⁰.

После Манифеста 17 октября и последовавших первых думских выборов рефлексия над «полицейско-бюрократическим режимом» империи и его наследием значительно радикализуется. Журнал «Перевал», который начинает выходить осенью 1906 года и совмещает, как и «Вопросы жизни», общественно-политическую тематику с модернистской литературой, в первых трех номерах помещает пространную статью Николая Минского «Идея русской революции». Поэт-символист старшего поколения, в этот период Минский сближается с социал-демократами. В октябре — декабре 1905 года он издает и редактирует большевистскую газету «Новая жизнь» (фактическим редактором которой вскоре после начала публикации становится Ленин); после краткосрочного ареста, связанного с его издательско-редакционной деятельностью, он в 1906 году уезжает из России и живет за границей до 1913 года. На протяжении жизни Минский не раз радикально меняет свои идейные установки и интересы, следуя за тем, что кажется ему духом времени. Это его свойство позволяет видеть в его статье 1906 года не только и не столько выражение индивидуальной позиции, сколько компендиум интеллектуальных настроений, характеризующих революционный момент.

Свою статью Минский начинает с сопоставления русской революции с предшествующими европейскими революциями и утверждает, что ее главное отличие связано с местом, которое получает в русской революции требование «освобождения личности». Если европейские революции одушевлялись враждой к представителям определенных сословий (знати, аристократии), то русская революция воодушевляется «ненавистью к бюрократии и полиции»¹¹. Происходит это потому, что в России «весь исторический процесс сводился к обесцвечиванию, умалению личности, слиянию всех в однородную государственную массу, в громадного полипняка, вооруженного военными челюстями

10 Новгородцев П. Современные отзвуки славянофильства // Вопросы жизни. 1905. № 6. С. 374.

11 Минский Н. Идея русской революции // Перевал. 1906. № 1. С. 11—12. Далее номера страниц указываются в тексте.

и чиновничьими когтями» (с. 12—13). Минский объясняет этот феномен задачами освоения огромных пространств ради создания государства, которое «не боялось бы нашествия диких орд, а само покорило бы все народы и племена» (с. 15). В итоге, полагает Минский, «из всех стран Европы Россия — единственная, в которой личность была не творцом, а жертвой государственного развития» (с. 14). Приняв завоевание пространства как необходимость, «русская личность уже не по принуждению, а добровольно отказывалась от своего первородства в пользу государства» (с. 15). Краткий исторический экскурс, в котором Минский отчасти подражает Чаадаеву, завершается еще одним постулатом, касающимся свойства русской имперской экспансии. В отличие от европейских завоеваний, как бы к ним ни относиться, русская экспансия была лишена «культурной идейности», пишет Минский, и в ней невозможно «открыть следов какой бы то ни было миссии» (с. 18). Покорение пространств, утверждает автор, было самодостаточной, изнуряющей и в конечном итоге саморазрушительной задачей, которая решалась ценой «умерщвления человеческой личности у себя дома и в покоренных областях во имя безыдейного, бессознательного государственного единства» (с. 19). Для подданного империи ее экспансия предстает как «сплошной географически эпизод», которому трудно найти объяснение:

Зачем понадобилась России Финляндия? На что ей нужен был Кавказ? Во имя чего нужно было разгромить высшую сравнительно с русской культуру Польши? Зачем нужна была Сибирь, этот огромный мир, превращенный в тюрьму? Зачем нужны были Сахалин, Приамурский край? Какой культурной миссией вдохновлялись славянофилы, когда мечтали о покорении Константинополя и о водружении креста на Святой Софии? (с. 18).

Имперская экспансия в случае России оказывалась для власти способом распространения принципов угнетения и насилия, практиковавшихся внутри «великорусского центра», на всё новые территории, полагает Минский:

Привыкши у себя дома считать человеческую личность врагом государственного единства, русская власть переносила этот взгляд на завоеванные области, где прежде всего она старалась оборвать между людьми все живые связи языка, школ, книг, собраний и союзов. С каждым новым завоеванием сердце России слабело, великорусский центр хирел, с каждым завоеванием на периферии накаплилось все больше ненависти. И в конце получилось то, что захиревшая в сердцеvine страна оказалась окруженной со всех сторон ненавидящими, мечтающими о мщении окраинами. Финляндцы, эсты, лифляндцы, поляки, грузины, армяне — целое огненное кольцо вражды и мщения (с. 19).

Экспансия вовне и подавление личности внутри (и повсюду), таким образом, неразрывно связаны для Минского, и в этой связности вызревают «разгром и распадение» государства. «С усовершенствованием оружия, военное могущество страны все более и более зависит от культурного развития и самосознания ее жителей», — пишет он (там же). Обозревая под этим углом зрения военные конфликты «петербургского периода» русской истории, Минский рисует картину деградации человеческой инициативы и знания (отдавая дань самоотверженности солдат), которые и приводят к поражению в войне с Японией и пробуждению народа от «векового заблуждения»:

Наряду со свежими могилами бесцельно погубленных армий на полях Манджурии, разверзлись тысячи других могил, старинных, давно забытых, и несчастные жертвы, похороненные в них, как бы ожили и, проклиная, требовали ответа. «Мы отрекались от своих человеческих прав», вопияли они, «мы были рабами холопов, гибли от насилия и вымогательств, и все это мы переносили безропотно, веря, что наши муки нужны для могущества единой России. Но если власть вела Россию к поражению и погрому, то во имя чего страдали мы?» И когда этот вопль обошел всю русскую землю, родилась на свет русская революция (с. 22).

Если Булгаков и Новгородцев сосредоточивали свою критику империи на авторитарной модели правления как таковой и противопоставляли ей модель представительной демократии в рамках конституционной монархии, то в публицистической риторике Минского акцент перенесен на полный демонтаж режима. В его модели империи все подданные едины в своем бесправии, что и позволяет ему говорить о происходящей революции как «всесловной» или «внесловной» (там же). Его радикализм соотносится с его социал-демократическими симпатиями этого времени: «Россия не требует у старого режима ни реформ, ни преобразований, ни свобод, а жаждет свободы от этого режима» (с. 23). На этом фоне примечателен один из заключительных пассажей, касающийся вопроса о будущей судьбе народов, завоеванных империей. Рассуждая о необходимости достижения «не только свободы граждан, но и автономии народов», Минский подчеркивает:

Кошмар русского государства, отсутствие естественных границ, может быть устранен только тогда, когда народы, входящие в состав русской территории, добровольно сольются с Россией в органическое единство. Попытка какой-либо народности воспользоваться ослаблением власти и порвать всякую связь с Россией была бы пагубна для интересов революции. Для того, чтобы подобная попытка была невозможной, революция и стала насквозь антинациональной и антипатриотичной. Эта антипатриотичность — залог высшего патриотизма. Автономия поляка, финна, армянина не менее дорога русскому революционеру, чем его собственная свобода. Оттого полякам, финнам, армянам выгоднее слиться со свободной Россией, нежели образовать отдельные государственные единицы, взаимно угрожающие друг другу (с. 22—23).

Минский объясняет необходимость территориального статус-кво угрозами, которые повлек бы за собой распад империи на множество государств. Уважение к праву народов на «автономию» (параметры которой не определены) предполагается как естественное следствие революционных перемен, и от народов (бывшей) империи ожидается добровольное вступление в новый, органический союз с Россией. Таким образом, вообразить территориальный распад страны оказывается сложнее, чем крах монархического режима, который Минский уверенно предрекает. Критика империи останавливается на пороге «национально-территориального вопроса» и не может его переступить. В этом Минский сходится с Булгаковым, для которого, как мы помним, территориальный распад («рассыпание») есть угроза, которую необходимо предотвратить.

Между тем «антинациональность», которую Минский считает одной из важнейших характеристик революции, не подтверждается ее опытом и последствиями, причем не только в отношении имперских окраин, но и в отношении «великорусского центра» империи. Именно кризис лояльности имперскому

государству после Первой русской революции толкает русский образованный класс к конструированию собственной новой идентичности, в которой и имперское, и национальное подвергаются переосмыслению. Один из путей, по которому идет это переосмысление, связан с противопоставлением обоих понятий («империя» и «нация») категории государственности. Катализатором этого поворота отчасти становится интерес к анархистским учениям, популярность которых быстро растет в России 1900-х годов. Однако сама задача переосмысления ситуации империи в революционную эпоху, как кажется, толкает мыслителей на путь широкой метафоризации имперского начала, которое в своей традиционной политической ипостаси уже не может быть ценностью. «Оттого-то и нас так отвращает эгоистическое утверждение нашей государственности у эпигонов славянофильства, что не в государственности мы осознаем назначение наше», — будет писать Вяч. Иванов в 1908 году в статье «О русской идее»¹². Русскую национальную идею он увидит в идее империи как идее синтеза, как «служении вселенском», не знающем границ, этого атрибута государственности. Империя превращается в объект визионерской мифологии, как бы отрешенной от политических реалий сегодняшнего дня, и это видится как революционный жест. Национально-культурное строительство, увиденное через призму той же визионерской мифологии, оказывается «соборным действием», локусом которого должны выступать «народные общины». Они не специфичны для какого-то одного национального сообщества; это универсалистские формы самоорганизации человеческих коллективов, которые преобразуют мир, а не государство: «И только тогда, прибавим, осуществится действительная политическая свобода, когда хоровой голос таких общин будет подлинным референдумом истинной воли народной» («Предчувствия и предвестия», 1906)¹³. Так критика империи исторической сопровождается поиском для имперской матрицы иных возможностей приложения, и это кажется одним из долговременных свойств антиимперской рефлексии в России.

Лишь на короткое время национальное как идея противопоставляется имперской матрице, а не включается в нее. В 1917 году, когда монархический режим падет, именно тема освобождения национальной культуры внезапно станет лейтмотивом переживаемого момента для представителей русской культуры самых разных лагерей. Так, Андрей Римский-Корсаков (сын композитора и музыкальный критик) в связи с событиями Февральской революции публикует редакторскую заметку в журнале «Музыкальный современник». «Великими переменами должно ознаменоваться наше освобождение от векового бремени, тяжко давившего и на те области духовной жизни, которые казались наименее причастными политическому режиму и социальному строю дореволюционной России», — пишет он¹⁴. Музыкальное искусство, как одна из таких областей, сетует автор, «было разобщено с народом, не могло стать в мертвящих условиях старого режима *всенародным, национальным* достоянием». Падение монархии, полагает Римский-Корсаков, должно ознамено-

12 Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Bruxelles: Foyer Oriental Chrétien, 1971—1987. Т. 3. С. 326. Подробнее об этой статье см.: [Шевеленко 2017: 145—150].

13 Там же. Т. 2. С. 103.

14 Римский-Корсаков А. Наш долг (К совершившемуся перевороту) // Музыкальный современник. 1916. № 4 (декабрь). С. 5. Невзирая на дату, указанную на номере журнала, он вышел не ранее марта 1917 года.

ваться новой институционализацией музыки — созывом Всероссийского съезда музыкальных деятелей, цель которого описывается на политическом языке революции:

Этот съезд — своего рода *музыкальное учредительное собрание* — должен наметить пути широкой демократизации искусства, пути создания сети бесплатных музыкальных школ, народных хоровых обществ и театров. <...> Национальные хоровые празднества должны наглядно воплотить в себе новое единение народных сил — великий праздник освобождения должен явиться прообразом грядущих народных музыкальных празднеств. И пусть музыкальные вожди Новой России вернут сторицею народу то, что они почерпнули из нетленных сокровищниц народного духа!¹⁵

Но и этот пафос оказался легко переводимым в плоскость имперского универсализма, который после падения монархии, казалось, лишился своей стигмы. Снятие сословных границ и проекты культурного синтеза в ситуации сохраняющегося высокого этноконфессионального разнообразия страны делали старый имперский космополитизм естественным основанием для нового «пролетарского интернационализма».

Напряжение между критикой империи как автократического режима и привязанностью к империи как территориальному и народному единству, которое мы наблюдаем среди русских интеллектуалов в эпоху первого революционного кризиса в России, дает начало долговременной тенденции. Притом что несправедливость (или избыточность) территориальных завоеваний империи артикулировалась многими, дальнейшие усилия предполагалось направлять на установление равноправия для всех народов и территорий внутри общего политического пространства (по существу мыслившегося как постимперское). Трансформация автократического режима в демократический виделась как решающее условие для этого, а учреждение национально-культурных автономий внутри страны — как базовый механизм достижения равноправия. Желание переосмысления и переустройства империи как союза равноправных народов лежало не только в основе собирания бывших имперских территорий большевистским режимом в 1920-е годы, но и — на новом историческом витке — в основе планировавшегося вплоть до 19 августа 1991 года подписания нового союзного договора как способа сохранения большинства национальных республик в составе переустроенного СССР. Смена политических режимов и вырабатываемых ими условий единства виделись как обоснование сохранения единства. Такое видение сталкивалось с позициями других акторов (народов), воспроизводя противоречия между взглядом из центра бывшей империи и с ее окраин. Постимперское развитие, возможно, когда-нибудь вполне разрешит их.

15 Там же. С. 7.

Библиография / References

- [Андерсон 2001] — *Андерсон Б.* Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма / Пер. с англ. В.Г. Николаева. М.: Канон-Пресс-Ц; Кучково поле, 2001.
- (*Anderson B.* Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Moscow, 2001. — In Russ.)
- [Варфоломеев 2013] — *Варфоломеев Ю.В.* К вопросу о создании представительных органов власти императорской России: первая фаза конституционного цикла (декабрь 1905 — август 1905 года) // Известия Саратовского университета. Новая серия. История; Международные отношения. 2013, Т. 13. Вып. 1. С. 20—26.
- (*Varfolomeev Yu.V.* K voprosu o sozdanii predstavitel'nykh organov vlasti imperatorskoy Rossii: pervaya faza konstitutsionnogo tsikla (dekabr' 1905 — avgust 1905 goda) // Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Istoriya; Mezhdunarodnye otnosheniya. 2013. Vol. 13. Iss. 1. P. 20—26.)
- [Геллнер 1991] — *Геллнер Э.* Нации и национализм / Пер. с англ. Т.В. Бердиковой, М.К. Тюнькиной; ред. И.И. Крупника. М.: Прогресс, 1991.
- (*Gellner E.* Nations and Nationalism. Moscow, 1991. — In Russ.)
- [Миллер 2006] — *Миллер А.* Империя Романовых и национализм. М.: Новое литературное обозрение, 2006.
- (*Miller A.* Imperiya Romanovykh i natsionalizm. Moscow, 2006.)
- [Хобсбаум 1998] — *Хобсбаум Э.* Нации и национализм после 1780 года / Пер. с англ. А.А. Васильева. СПб.: Алетейя, 1998.
- (*Hobsbawm E.* Nations and Nationalism since 1780. Saint Petersburg, 1998. — In Russ.)
- [Шевеленко 2017] — *Шевеленко И.* Модернизм как архаизм: национализм и поиски модернистской эстетики в России. М.: Новое литературное обозрение, 2017.
- (*Shevelenko I.* Modernizm kak arkhazim: natsionalizm i poiski modernistskoy estetiki v Rossii. Moscow, 2017.)
- [Burbank, Cooper 2010] — *Burbank J., Cooper F.* Empires in World History: Power and the Politics of Difference. Princeton: Princeton University Press, 2010.
- [Burbank, Cooper 2023] — *Burbank J., Cooper F.* Post-Imperial Possibilities: Eurasia, Eurafica, Afroasia. Princeton: Princeton University Press, 2023.
- [Greenfeld 1992] — *Greenfeld L.* Nationalism: Five Roads to Modernity. Cambridge: Harvard University Press, 1992.
- [Kappeler 2001] — *Kappeler A.* The Russian Empire: A Multiethnic History / Transl. by A. Clayton. London: Longman, 2001.
- [Seton-Watson 1977] — *Seton-Watson H.* Nations and States: An Enquiry into the Origins of Nations and the Politics of Nationalism. Boulder: Westview Press, 1977.